

ШЕДЕВРЫ ЮМОРА



100



ЛУЧШИХ
юмористических
историй



Коллектив авторов

Шедевры юмора. 100 лучших юмористических историй

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6110830

Аннотация

«Шедевры юмора. 100 лучших юмористических историй» – это очень веселая книга, содержащая цвет зарубежной и отечественной юмористической прозы 19–21 века.

Тут есть замечательные произведения, созданные такими «королями смеха» как Аркадий Аверченко, Саша Черный, Влас Дорошевич, Антон Чехов, Илья Ильф, Джером Клапка Джером, О.Генри и др. Не менее веселыми и задорными, нежели у классиков, являются включенные в книгу рассказы современных авторов – Михаила Блехмана и Семена Каминского. Также в сборник вошли смешные истории от «серьезных» писателей, к примеру Федора Достоевского и Леонида Андреева, чьи юмористические произведения остались практически неизвестны современному читателю.

Тематика книги очень разнообразна: она включает массу комических случаев, приключившихся с деятелями культуры и журналистами, детишками и барышнями, бандитами, военными и бизнесменами, а также с простыми скромными обывателями. Читатель вволю посмеется над потешными инструкциями

и советами, обучающими его искусству рекламы, пения и воспитанию подрастающего поколения.

Содержание

Аверченко Аркадий	5
Алло!	5
Апостол	15
Автобиография	25
Борьба с роскошью	38
Булавка против носорога	44
Дети	54
Крыса на подносе	67
Кто ее продал...	77
Три желудя	83
Участок	93
Юмор для дураков	101
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Шедевры юмора. 100 лучших юмористических историй

Аверченко Аркадий

Алло!

...личный разговор лицом к лицу – это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону – телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Цитата из этого рассказа

Мышьяк при некоторых болезнях очень полезное средство; но если человека заставить проглотить столовую ложку мышьяку – оба бесцельно погибнут. И человек и мышьяк.

Трость очень полезная вещь, когда на нее опираются; но в ту минуту, когда тростью начинают молотить человека по спине, трость сразу теряет свои полезные свойства.

Что может быть прекраснее и умильнее ребенка; при рода, кажется, пустила в ход все свое напряжение, чтобы со-

здать чудесного, цветущего голубоглазого ребенка. Кто из нас не любовался ребенком, не восхищался ребенком; но если кто-нибудь начнет швыряться из окна четвертого этажа ребятами в прохожих – прохожие отнесутся к этому с чувством омерзения и гадливости.

Я не могу себе представить ничего более полезного, чем иголка. А попробуйте ее проглотить? Этим я хочу только сказать, что хотя шилом не бреются и ручкой зонтика не увлекают попавшие в глаз соринки, но разговаривать по телефону безо всякой нужды больше получаса – на это находят охотники.

И они не видят в этом ничего дурного.

* * *

Иногда ко мне по телефону звонит барышня.

Я умышленно не называю ее имени, потому что у всякого человека есть своя барышня, которая ему звонит.

Характер такой барышни трудно описать. Она не обуреваема сильными страстями, не заражена большими пороками; она не глупа, кое-что читала. Если несколько сот таких барышень, подмешав к ним кавалеров, пустить в театр, они образуют собою довольно сносную театральную толпу.

На улице они же образуют уличную толпу; в случае какой-нибудь эпидемии участвуют в смертности законным процентом, ропща на судьбу в каждом отдельном случае, но

составляя в то же время в общем итоге «общественное мнение по поводу постигшего нашу дорогую родину бедствия».

Никто из них никогда не напишет «Евгения Онегина», не построит Исаакиевского собора, но удалять их за это из жизни нельзя – жизнь тогда бы совсем оскудела. В книге истории они вместе со своими кавалерами занимают очень видное место; они – та белая бумага, на которой так хорошо выделяются черные буквы исторических строк.

Если бы не они со своими кавалерами – театры бы пустовали, издатели модных книг разорялись бы, а телефонистки на центральной станции ожирели бы от бездействия и тишины.

Барышни не дают спать телефонисткам. В количестве нескольких десятков тысяч они ежечасно настоятельно требуют соединить их с номером таким-то.

К сожалению, никто не может втолковать барышням, что личный разговор лицом к лицу – это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону – телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Пусть кто-нибудь из читателей попробует втолковать это барышне, – она в тот же день позвонит ко мне по телефону и спросит: правда ли, что я написал это? Как я, вообще, поживаю? И правда ли, что на прошлой неделе меня видели с одной блондинкой?

– Вас просят к телефону!

– Кто просит?

– Они не говорят.

– Я, кажется, тысячу раз говорил, чтобы обязательно узнавали, кто звонит?

– Я и спрашивал. Они не говорят. Смеются. Ты, говорят, ничего не понимаешь.

– Ах ты, Господи! Алло! Кто у телефона?!

Говорит барышня. Отвечает:

– О, боже, какой сердитый голос. Мы сегодня не в духе?

– Да нет, ничего. Это просто телефон хрипит, – говорю я с наружной вежливостью. – Что скажете хорошенького?

– Что? Кто хорошенькая? С каких это пор вы стали говорить комплименты?

– Это не комплимент.

– Да, да – знаем мы. Всякий мужчина, преподнося комплимент, говорит, что это не комплимент.

Чрезвычайно, чрезвычайно жаль, что она не видит моего лица.

Я молчу, а она спрашивает:

– Что вы говорите?

Что ей сказать? Бросаю единственную кость со своего скудного неприхотливого стола:

– Вы из дому говорите?

– Какой вы смешной! А то откуда же?

Что бы такое ей еще сказать?

– А я думал, от Киндякиных.

– От Киндякиных? Гм! Вы только, кажется, и думаете, что о Киндякиных. Вам, вероятно, нравится m-me Киндякина? Я что-то о вас слышала!.. Ага...

Это она называет «интриговать».

Потом будет говорить какому-нибудь из своих кавалеров:

– Я его вчера ужасно заинтриговала.

Понурившись, я стою с телефонной трубкой у уха, гляжу на ворону, примостившуюся у края водосточной трубы, и впервые жалею, оскорбляя тем память своего покойного отца: «Зачем я не создан вороной?»

Над ухом голос:

– Что вы там – заснули?

– Нет, не заснул.

Какой ужас, когда что-нибудь нужно сказать, а сказать нечего. И чем больше убеждаешься в этом, тем более тупеешь...

– Алло! Ну, что ж вы молчите? С вами ужасно трудно разговаривать по телефону. Расскажите, что вы поддельваете?

Помедлив немного, я раздражаюсь таким каламбуром, услышав который всякий другой человек повесил бы трубку и убежал без оглядки:

– Что я поддельваю? Преимущественно кредитные бу-

мажки.

– Алло? Я вас не слышу!

– Кредитные бумажки!!!

– Что – кредитные бумажки?

– Я. Подделываю.

– К чему вы это говорите?

– А вы спрашиваете, что я подделываю? Я не разобрал – два «д» у вас или одно. Вот и ответил.

Этот каламбур приводит ее в восхищение.

– Ах, вечно живой, вечно остроумный! И откуда у вас только это берется? Серьезно, что у вас новенького?

Зубами прикусываю нижнюю губу; лишний раз убеждаюсь, что кровь у меня солоноватая, с металлическим вкусом.

– Как вампиры могут пить такую гадость?

– Что-о?

– Я говорю, что не понимаю: какой вкус находят вампиры в человеческой крови.

Она нисколько не удивляется обороту разговора:

– А вы верите в вампиров?

Надо бы, конечно, сказать, что не верю, но так как мне все это совершенно безразлично, я вяло отвечаю:

– Верю.

– Ну как вам не стыдно! Вы культурный человек, а верите в вампиров. Ну, скажите: какие основания для этого вы имеете? Алло!

– Что?

– Я спрашиваю: какие у вас основания?

– На кого? – бессмысленно спрашиваю я, читая плакат сбоку телефона: «Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других».

– «На кого» не говорят. Говорят: для чего.

– Что «для чего»?

– Основания.

– Жизнь не ждет, – возражаю я, как мне кажется, довольно основательно.

– Нет, вы мне скажите, почему вы верите в вампиров? Что за косность?

– Интуиция.

Вероятно, она не знает этого слова, потому что говорит «а-а-а» и, как испугнутая птица, перепархивает на другой сук:

– Что у вас, вообще, слышно?

– Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других.

– У какого Нарановича?

– Портной. Вероятно, дамский.

– Не говорите пошлостей. Вы забываете, что разговариваете с барышней. Вообще, вы за последнее время ужасно испортились.

И вот мы стоим на расстоянии двух или трех верст друг от друга, приложив к уху по куску черного, выдолбленного внутри каучука. От меня к ней тянется тонкая-претонкая

проволока – единственное связующее нас звено.

Почему проволока так редко рвется? Хорошо, если бы какая-нибудь большая птица уселась на самое слабое место проволоки и... А ведь в самом деле – может же это случиться? Если положить потихоньку трубку на подоконник и уйти? А потом свалить все на «этот проклятый телефон». («Вечная история с этими проводами! Поговорить даже не дадут как следует!»)

Но нужно прервать беседу на моих словах. Пусть барышня думает, что я вне себя от досады, не успев рассказать начатое.

Я кричу:

– Алло! Вы слушаете? Я вам сейчас что-то расскажу – только между нами. Ладно? Даете слово?

– О, конечно, даю! Я умираю от любопытства!!

– Ну, смотрите. Вчера только что подхожу я к квартире Бакалеевых, вдруг выходит оттуда Шмагин – бледный, как смерть! Я...

Я кладу трубку на подоконник (если повесить ее, барышня может через минуту опять позвонит), – кладу трубку, облегченно вздыхаю и удаляюсь на цыпочках (громкие шаги слышны в трубку).

Воображаю, как она там беснуется у своего конца проволоки:

– Алло! Я вас слушаю. Почему вы молчите?! Ах ты, Господи! Барышня! Это центральная? Почему вы нас разъеди-

нили?! Дайте номер 54–27.

А телефонистка, наверное, отвечает деревянным тоном:

– Или трубка снята, или повреждение на линии.

Милая телефонистка.

* * *

Однажды барышня позвонила ко мне рано утром; было холодно, но я согрелся под одеялом и думал, что никакие силы не сбросят меня с кровати.

Однако, когда зазвенел телефонный звонок, я, пролежав минуты три под оглушительный звон, наконец, дрожа от холода, вскочил и побежал к телефону, перепрыгивая с одной ноги на другую – пол холоден, как лед.

– Алло! Кто?

– Здравствуйте. Вы уже не спите? Однако рано вы поднимаетесь; я тоже уже проснулась. Ну, что у вас слышно?

Перепрыгивая с ноги на ногу, я давал вялые реплики и после десятиминутного разговора услышал успокаивающие душу слова:

– А я очень хорошо устроилась: лежу на оттоманке, около горящего камина – тепленько-претепленько. Педикюрша делает мне педикюр, а я пью кофе, рассматриваю журналы и говорю по телефону; телефон-то у меня тут же на столе. Я кстати и позвонила вам... Алло! Почему не отвечаете? Центральная!!! Что это такое? Опять порча? Господи!

* * *

Вот я написал рассказ.

Десятки тысяч барышень, наверное, прочтут его. И если хотя бы десять барышень призадумаются над написанным и поймут, что я хотел сказать, – на свете станет жить немного легче.

* * *

Прошу другие газеты перепечатать.

Апостол

I

Всякий вдумчивый, наблюдательный человек уже заметил, вероятно, что богатство дядюшек прямо пропорционально расстоянию, которое отделяет их от племянников.

Всякий вдумчивый наблюдательный человек замечал, что самые богатые, набитые золотом дядюшки всегда поселяются в Америке... Человеку, желающему быть миллионером – достичь этого, со времени великого открытия Колумба, очень легко: нужно обзавестись в Европе племянниками, сесть на пароход и переехать из Европы в эту удивительную страну. Совершив это – вы совершили почти все... Остаются пустяковые детали: сделаться оптовым торговцем битой свининой, или железнодорожным королем, или главой треста нефтепромышленников.

Если дядюшка живет где либо в Англии – племяннику его уже никогда не придется увидеть миллионов...

В лучшем случае, ему попадут несколько сот тысяч.

И чем ближе к племяннику – тем дядюшка все беднеет... Сибирь приносит племяннику всего несколько десятков тысяч, какая-нибудь Самара – тощий засаленный пучок кредиток и, наконец, есть такой предел, такая граница – где дя-

дюшка не имеет ничего. Перевалив эту границу, дядюшка начинает быть уже отрицательной величиной. Если он живет в двадцати верстах от племянника, то таскается к нему каждую неделю, поедает сразу два обеда, выпрашивает у племянника рубль на дорогу и, втайне, мечтает о гнусном, чудовищном по своей противоестественности случае: получить после смерти племянника – его наследство.

Хотя у меня и есть дядюшка, но я им, в общем, доволен: он живет в Сибири.

II

Однажды, когда я сидел за обедом, в передней послышался звонок, чьи-то голоса, и ко мне неожиданно ввалился дядюшка, красный от радости и задыхающийся от любви ко мне.

– А я к тебе, брат племянник. Погостить. Посмотреть, как они тут живут, эти самые наследники...

Он обнял меня, посмотрел внимательно через мое плечо на покрытый стол и – отшатнулся.

– Что вы, дядя?

Он прохрипел, нахмутив брови:

– Убийца!

– Кто убийца? – озабоченно спросил я. – Где убийца?

– Ты убийца! Что это такое? Это вот...

– Кусок ростбифа. Не желаете ли скушать?..

– Чтобы я ел тело убитого в муках животного?. Чтобы я был соучастником и покровителем убийства?! Пусть лучше меня самого съедят!

– Вы что же, дядя... вегетарианец?

Он уселся на стул, кивнул головой и внушительно добавил:

– Надеюсь, и ты им будешь... Надеюсь.

Если бы этот человек приехал из Самары или какого-нибудь Борисоглебска – я бы не церемонился с ним. Но он был из Сибири.

– Конечно, дядя... Если вы находите это для меня необходимым – я с сегодняшнего дня перестаю быть, как вы справедливо выразились, убийцей! Действительно, это, в сущности, возмутительно: питаться через насилие, через боль... Впрочем, этот ростбиф я могу доесть, а?

– Нет! – энергично вскочил дядюшка, хватаясь за ростбиф. – Ты не должен больше ни куска есть. Нужно мужественно и сразу отказаться от этого ужаса!

– Дядя! Ведь животное это все равно убито, и его уже не воскресить. Если бы оно могло зашевелиться, ожить и поползти на зеленую травку – я бы, конечно, его не тронул... Но у него даже нет ног... Не думаю, чтобы этот бедняга мог что либо чувствовать...

– Дело не в нем! Конечно, он (на глазах дяди показались две маленькие слезинки) ничего не чувствует... Его уже убили злые бессердечные люди. Но ты – ты должен спать отны-

не с чистой совестью, с убеждением, что ты не участвовал в уничтожении божьего творения.

До сих пор было наоборот: я обретал спокойный сон только по уничтожении одного или двух кусков божьего творения. И, наоборот, пустой желудок мстил мне жестокой длительной бессонницей.

Но, так как от Сибири до меня расстояние было довольно внушительное – я закрыл руками лицо и, с мучительной болью в голосе, прошептал:

– И подумаешь, что я до сих пор был кровожадным истребителем, пособником убийц... Нет! Нет!! Отныне начинаю жить по новому!

Дядя нежно поцеловал меня в голову, потрепал по плечу и сказал:

– Вот ты увидишь, какой прекрасный обед я закажу сейчас твоей кухарке. Через час все будет готово: мы пообедаем очаровательно!

Ш

На столе стояли вареные яйца, масло, маринованные грибы и хлеб.

– Мы, брат, чудесно пообедаем, – добродушно говорил дядя. – За первый сорт. Я голоден, как волк.

Он взял яйцо и вооружился ложкой.

– Дядюшка! – изумленно вскричал я – Неужели, вы будете

есть это?!

– Да, мой друг. Ведь здесь я никого не убиваю...

– Ну, нет! По моему, это такое же убийство... Из этого яйца мог бы выйти чудесный цыпленок, а вы его уничтожаете!

Его глаза увлажнились слезами. Он внимательно взглянул на меня: мои глаза тоже были мокры.

Он вскочил и бросился в мои объятия.

– Прости меня. Ты прав... Ты гораздо лучше, чем я!

Мы прижали друг друга к сердцу и, растроганные, снова сели на свои места.

Дядя повертел в руках яйцо и задумчиво произнес:

– Хотя оно уже вареное... Цыпленок из него едва ли получится.

– Дядюшка! – укоризненно отвечал я. – Дело ведь не в нем, а в вас. В вашей чистой совести!

– Ты опять прав! Тысячу раз прав. Прости меня, старика!..

Кухарка внесла суп из цветной капусты.

– Дай, я тебе налью, – любовно глядя на меня, сказал дядюшка.

Я печально покачал головой.

– Не надо мне этого супа.

– Что такое? – встревожился дядя. – Почему?

– Позвольте мне, дядя, рассказать вам маленькую историю... На одном привольном, залитом светом горячего солнца огороде – росла цветная капуста. Радостно тянулась она к ласковым лучам своей яркой зеленью... Любо ей было

купаться в летнем тепле и неге!.. И думала она, что конца не будет ее светлой и привольной жизни... Но пришли злые огородники, вырвали ее из земли, сделали ей больно и потащили в большой равнодушный город. И попала несчастная в кипяток, и только тогда, в невыносимых муках, поняла, как злы и бессердечны люди... Нет, дядя!.. Не буду я есть этой капусты.

Дядя с беспокойством взглянул на меня.

– Ты думаешь... Она что-нибудь чувствует?

– Чувствовала! – прошептал я, со слезами на глазах. – Теперь уже не чувствует... Учеными ведь доказано, что всякое растение – живое существо, и если оно не умеет говорить, то это не значит, что ему не больно!.. О, как я раньше был жесток! Сколько огурцов убил я на своем веку...

Дядя тихо положил ложку и отодвинул суповую чашку.

– Мне стыдно перед тобой... Теперь только я вижу, как я был жалок со своим вегетарианством, которое было тем же замаскированным убийством... Ты прямолинейнее и, значит, – лучше меня.

Мы сидели, молча, растроганные, опустив головы в пустые тарелки.

– Но... – прошептал, наконец, дядя, задумчиво глядя на меня. – Чем же мы должны питаться?

– Молоком, – сказал я. – Это никому не делает больно. Хлеб делается из колосьев и, поэтому, жестоко было бы уничтожать его. Вместо хлеба, можно подбирать сухие опавшие

листья, молотить их и изготавливать суррогат муки...

Дядя вздохнул.

– А я заказал кухарке на второе спаржу...

– Дядюшка! Позвольте мне рассказать вам историйку: на одном огороде росла спаржа... Радостно тянулась она к яркому...

– Знаю, – кивнул головой дядя. – Потом пришли злые огородники и сделали ей больно...

Он почесал затылок и сказал:

– Ну, что ж делать... Попьем молочка! Может, до сбора сухих листьев, можно с кусочком хлеба... Он ведь мёртвенький...

– Дядя! – сурово и непреклонно сказал я. – Будьте же мужественны! Ведь дело не в мёртвеньком, как вы говорите, хлебе, а в вас! Дело в чистой совести!

IV

Он пил маленькими глотками молоко и, пораженный, смотрел на меня. А я говорил:

– Я вам беспредельно благодарен! Вы мне открыли новый мир!.. Теперь я буду всю жизнь ходить босиком.

– Босиком? Зачем, мой друг, босиком?

– Дядя! – укоризненно сказал я. – Вы, кажется, забываете, что башмаки делаются из кожи убитых животных... Не хочу я больше быть пособником и потребителем убийства!

– Ты мог бы, – сосредоточенно раздумывая, прошептал дядя, – делать башмаки из дерева... Как французские крестьяне.

– Дядюшка... Позвольте вам рассказать одну печальную историйку. В тихом дремучем лесу росло деревцо. Оно жадно тяну...

– Да, да, – кивнул головой дядя. – Потом его срубили злые лесники. Милый мой! Но что же тогда делать?! Вот, у тебя сейчас деревянные полы...

Я тихо, задумчиво улыбнулся.

– Да, дядюшка! В будущий ваш приезд этого не будет... Я закажу стеклянные полы...

– По... чему стеклянные?

– Стекла не больно. Оно – не растительный предмет... Стулья у меня будут железные, а постели из мелкой металлической сетки...

– А... матрац и... подушки?.. – робко смотря на меня, спросил дядя.

– Они хлопчатобумажные! Хлопок растет. Позвольте рассказать вам одну...

– Знаю, – печально махнул рукой дядя. – Хлопок рос, а пришли злые люди...

Он встал со стула. Вид у него был расстроенный и глаза горели голодным блеском, так как он пил только молоко.

– Может быть, вы желали бы пройтись после обеда по саду? – спросил я. – Мне нужно кое-чем заняться, а вы погу-

ляйте.

Он встал, робкий, голодный, и заторопился:

– Хорошо... не буду тебе мешать... Пойду, погуляю...

– Только, – серьезно сказал я, – одна просьба: не ходите по траве... Она вам ничего не скажет, но ей больно... Она будет умирать под вашими ногами.

Я обнял его, прижал к груди и шепнул:

– Когда будете идти по дорожке – смотрите под ноги... У меня болит сердце, когда я подумаю, что вы можете раздавить какого-нибудь несчастного кузнечика, который...

– Хорошо, мой друг. У тебя ангельское сердце...

Дядя посмотрел на меня робко и подавленно, с чувством тайного почтения и страха. Втайне, он очевидно, и сам был не рад, что разбудил во мне такую чуткую, нежную душу.

Когда он ушел, я вынул из буфета хлеб, вино, кусок ростбифа и холодные котлеты.

Потом расположился у окна и, уничтожая эти припасы, любовался на прогуливавшегося дядюшку.

Он шагал по узким дорожкам, сгорбленный от голода, нагибаясь время от времени и внимательно осматривая землю под ногами... Один раз он машинально сорвал с дерева листик и поднес его к рту, но сейчас же вздрогнул, обернулся к моему окну и бросил этот листик на землю.

Прожил он у меня две недели – до самой своей смерти.

Мы ходили босиком, пили молоко и спали на голых железных кроватях..

Смерть его не особенно меня удивила.

Удивился я только, узнав, что хотя он и жил в Сибири, но имел все свойства самарского дядюшки: после его смерти я получил тощий засаленный пучок кредиток – так, тысячи три.

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица!» – подумал я, внутренне усмехнувшись, – «ты играешь на верняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым делом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за

указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.

– Очень нужно! Не хочу учиться.

– Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

– Я болен.

– Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

– Глаза.

– Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь? Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который dokonчил в уме: «... хорошего в учении».

Так я и не занимался науками.

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на

меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами, каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – несколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распрощившись с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

– Надо тебе служить.

– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример, как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать, – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет. А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подошел к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, во все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недостижим!

– Сережа служит, а ты еще не служишь... – упрекнул меня отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал

шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.

– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку – Как делишки?

– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в

контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преимущественно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя – Как я мог не разобраться раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

– Посмотрите, кто там? – попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

– Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился

до 25 рублей – ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.

И все обитатели этого места пили, как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой неременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе – целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

– Что это такое? – изумился я...

– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповали у селе. Для Божьего праздничку.

– Ну?

– Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала.

И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один

смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Продавав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина-был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались презрительными отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы колонию и обратно, а также

в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах месте, которое восхищало меня сначала до глубины души. Работал я в конторе отвратительность и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывая работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрызгах.

Литературная моя деятельность была начата в 1904 году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во – первых я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу. Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал.

– Один из нас должен уехать из Харькова!

– Ваше превосходительство! – возразил я – Давайте пред-

ложим харьковцам кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 5 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, – могу дать честное слово, – увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город. Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот – начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб, на полгода 4 руб).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью

могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб, на полгода 4 руб).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской делегации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

Борьба с роскошью

– Имею честь рекомендоваться: действительный член новооткрытой петроградской лиги для борьбы с роскошью и мотовством.

– А! Действительный?

– Да-с.

– Это хорошо, что действительный. Прошу покорнейше садиться...

– Куда?

– А вот в это кресло.

– В это кресло? Ни за что. Оно ведь, поди, рублей пятьдесят стоить?

– 120.

– Сто двадцать?! О, Боже! Какое возмутительное мотовство! Принципиально не сяду... Я лучше, тут, на подоконничке...

– Чем могу служить?

– Я пришел вам сказать одно только слово... Кажется, господин Фурсиков?

– Фурсиков.

– Одно слово: опомнитесь, Фурсиков! Нам сообщили, что вы живете роскошно и мотаете деньги без всякого толку и смысла... На чем, например, вы сейчас стоите?

– На полу.

– Нет, на ковре! А ковер-то персидский, а цена-то ему пятьсот рублей, а на ковре-то этом еще лежит медвежья шкура, тоже, поди, в два ста ее не уберешь?

– 550.

– Я не падаю в обморок от этой цифры только потому, что у меня крепкие нервы. Эх, господин Фурсиков! Нужен вам этот ковер? Нет, не нужен. Нужен медведь? Ни для какого черта не нужен. Это у вас что за комната?

– Кабинет...

– Так-с... А та?

– Столовая.

– Ну, скажите, пожалуйста... Неужели, эти две комнаты нельзя соединить в одну? Или обедайте в кабинете или занимайтесь в столовой. Ведь два дела за раз вы не будете делать – обедать и заниматься. Значит – для чего же две комнаты?

– Но у меня тут письменный стол...

– А для чего он вам? На обеденном и занимайтесь... Если бумаги какие есть, документы – их можно в ящичек из-под макарон класть. Макароны скушать, а в пустой ящичек прятать после работы бумаги... Наконец – чернильница! Для чего вам такая огромная – с каким-то орлом, с бронзой и мрамором? Прекрасно и баночка из-под горчицы служить может. Горчицу скушали, а в баночку чернил налили... Это что за комната?

– Спальня...

– Ну, вот, ну, вот! В кабинете есть огромный широкий

диван, есть оттоманка, а вы еще спальню заводите. Что за мотовство?!..

– Но... у меня ведь жена...

– Ну, что ж... Прекрасно на этой оттоманке уместились бы с женой рядом...

– На ней нельзя спать... Плюш испортится.

– А зачем плюш? Клеенкой обтянули и конец. Что за швыряние деньгами. Лучше бы эти деньги на военные нужды пожертвовали... О! Там еще комната?

– Да... Это спальня моего брата...

– Зачем? К чему? Кому это нужно? Спальня! В том же кабинете можно и устроиться. Вы с женой на оттоманке, брат на диване. Когда брат раздевается – жена ваша выходить на минуту, жена раздевается – брат выходить. Господи! Только было бы желание, а устроиться всегда можно...

– Но... у жены есть туалетный столик... его некуда тут поставить...

– Как некуда? А на ваш письменный стол. Такой огромный дурак, – неужели он не сможет сдержать этого крошки... И преудобно будет: жена ваша взбирается на письменный стол (вы ее можете и посадить) и садится за туалетный столик, причесываться или что она там делает, вы у ее ног сидите, работаете, а на другом конце стола может сидеть ваш брат и есть в это время колбасу.

– Нет, так неудобно... Жена любит, чтобы из спальни был ход прямо в ванную...

– О, Боже милостивый! Что вы, Ротшильд, что ли? Зачем вам отдельная ванная? Ванну можно поставить на место этой этажерки с безделушками и отгородить ее ситцевой занавесочкой... Да постойте! Ведь тут, вместо этого мраморного идиота, можно поставить керосинку... Тогда вам и кухни не надо... Жена будет жарить на керосинке яичницу, брат рубит, скажем, котлеты, а вы чистите картошку! Ни кухни, ни кухарки не надо... А экономию всю на нужды войны жертвуйте... Сколько у вас теперь комнат?

– Ш... шесть...

– Ну, вот! А я вам доказываю, что одной довольно... Тесновато, вы думаете? А на кой дьявол вам два шкафа книг? Что вы их все сразу читаете, что ли? Ведь больше одной за раз не читаете? Ну, вот! Запишитесь в какую-нибудь библиотеку и берите книги, а эти продайте, а деньги на Красный Крест пожертвуйте... Ведь сердце кровью обливается, когда на вас смотришь. Это что – жакет на вас?

– Жакет...

– Рублей 60, поди, стоить.

– 140.

– Ну, вот! Кому это нужно?! Взяла бы жена и сшила сама из трико по три двадцать аршин; и прочно и хорошо. Пальто, вон, я ваше в передней видел. Почему на меху? Можно и в весеннем проходить зиму, а ежели холодно, то не ездить на извозчиках или там на трамваях, а просто бежать по улице. И экономия времени, и согреешься... А это пальто спустить

надо, а денежки на шитье противогазов пожертвовать. Гм... да! Позвольте, г. Фурсиков... Почему же вы плачете?

– О, г. действительный член петроградской лиги для борьбы с роскошью и мотовством! Вы так хорошо говорили, так убедили и меня, и жену мою, и брата, что мы решили во всем и везде следовать тем принципам, с которыми сейчас познакомились...

– Гм... Ну, да... Я очень рад... гм!.. Очень. Утрите слезы. Еще не все потеряно... Прощайте, г. Фурсиков, прощайте, мадам. А где же ваш братец?

– А он тут побежал в одно место... А, вот он! Вернулся.

– Прощайте, господа... Это что у вас, передняя? Ну зачем такая большая передняя... Все верхнее платье можно вешать в кабинете, около ванны... А экономию пожертвовать на нужды... гм! Где же мое пальто?

– Вот оно.

– Это не мое. У меня было с бобровым воротником, новое...

– Нет, это ваше. Это ничего, что оно старенькое и без воротника. Если вам будет холодно – можете бежать...

– Где мое пальто?!!

– Вот такое есть. Не кричите. А то, которое было вашим, мой брат успел заложить за 300 рублей в ломбард, а деньги внес на Красный Крест... Вот и квитанция. Простите, г. член для борьбы с роскошью, но вы так хорошо говорили, что мой брат не мог сдержать порыва... Всего хорошего...

Позвольте, господин!.. Квитанцию забыли захватить...

– Ушел... Обиделся, что ли, не понимаю...

И на что бы, кажется?

Булавка против носорога

Старый добрый немецкий слуга Фриц вошел в кабинет министра иностранных дел и доложил:

– Там посланники пришли: испанский, итальянский и американский.

Дремавший до того министр встрепенулся:

– Зачем?

– Протест, говорят, хотим заявить. Против наших германских зверств.

– Так. А пришли-то они зачем?

– Да протест же заявить. Против зверств.

– Ну, да, я это понимаю... Конечно – протест, конечно, – зверства... Это, как полагается. Но причина прихода их в чем заключается?

– Да зверства же!! Протест!..

– Однако, и туп же ты, братец. Ему говоришь одно, а он бубнит другое!.. Пойми ты своими куриными мозгами: протест против наших зверств это – одно, а причина прихода – другое. Ведь это – все равно, как к тебе пришел какой-нибудь человек и говорит тебе, войдя: Здравствуйте! Ну? Так ведь слово «Здравствуйте», это – не причина его прихода, не повод, по которому он к тебе явился, а так просто... обычная, общепринятая формула. Понял?

– Ну, да. Пришел он к тебе, сказал: здравствуйте! а потом

уже и выясняется то дело, по которому он пришел. Возьмет ли он у тебя займы десять марок, сделает ли тебе предложение пойти в биргалле, даст ли тебе по морде, – это все дела, по которым он пришел... А «здравствуйте» тут не причем. Понял? Так вот, ты мне теперь и ответь: зачем пришли эти дипломаты?

Фриц стал на колени посреди кабинета и заплакал:

– Пожалейте меня старого дурака, не мучайте меня. Дипломаты пришли выразить свой протест против германских зверств, а больше я ничего не знаю...

– Пошел вон, старая рассохшаяся бочка! Тебе не в дипломатическом ведомстве служить, а воду возить. Проси их сюда!

Через минуту три дипломата – итальянский, американский и испанский – вошли в кабинет, стали в ряд и, молча, отвесили немецкому министру холодный поклон.

– Чем могу служить, господа? – приветливо спросил министр.

Американский посланник кашлянул в руку и сказал, нахмутив брови:

– От имени своего, американского, и от имени Италии и Испании, мы, представители этих нейтральных держав, горячо протестуем против тех насилий, зверств и правонарушений, не согласных с обычными способами ведения войны, – тех правонарушений, кои были допущены германцами в настоящую войну. С совершенным уважением к вам пре-

бываем – представители Америки, Италии и Испании.

– Хорошо, хорошо, господа. Спасибо. Покорнейше, прошу сесть. Чем могу служить?

Снова поднялся уже усевшийся в кресло американский посланник и отчеканил:

– Чем вы нам можете служить? А тем, что мы просим вас принять во внимание наш протест против тех насилий над мирным населением и нарушений обычая войны, которые допускаются германской армией.

– Да, да. Вы это уже говорили, хорошо. Протест ваш принят. А по какому делу вы осчастливили меня своим визитом?

– Ах, ты. Господи! Да мы и пришли только за тем, чтобы заявить протест.

– И больше ничего?

– Ничего.

Посидели молча.

– Снег-то какой повалил, – сказал испанский посланник, поглядывая в окно.

– Да, погода нехорошая, – согласился германский министр.

– Говорят, когда зима снежная, то лето будет жаркое, – заметил итальянец.

– Да.

– Ну, – шумно вздыхая, встал с кресла американец, – посидели, пора и честь знать. Пойдемте господа, не будем мешать хозяину.

Распознались. Ушли.

* * *

Через несколько дней, выбрав свободные полчаса, снова зашли представители нейтральных держав в германское министерство иностранных дел.

– А-а, – встретил их министр. – Вероятно с протестом.

– Вы угадали. Германские зверства, и насилия все еще продолжаются, и мы протестуем...

– На этот раз – энергично! – подсказал испанец.

– Да! – поддержал итальянец. – Мы выражаем свой энергичный протест.

– А раньше был разве простой? – спросил германский министр. – Я думал, что энергичный.

– Нет... Тот, что раньше – был простой. А вот теперь так энергичный.

– Энергичнейший! – кивнул головой итальянец.

– Самый эдакий... что называется... ну одним словом, – энергичный! – пылко вскричал испанец.

– Хорошо, господа. Не присядете-ли? Что новенького в ваших палестинах?

Соединенная комиссия из представителей нейтральных стран выезжала на театр военных действий.

Цель поездки была: зарегистрировать германские зверства и заявить против них свой протест.

Провожающие говорили:

– Господа уезжающие! На вашу долю выпала великая миссия: заявить энергичный протест против тех насилий и тевтонских зверств, которые все время допускаются по отношению мирного населения потерявшими всякую меру так называемыми «культурными» немцами. Эта культура – в кавычках!

– Bravo, bravo. Это очень зло сказано! «Культурные» немцы в кавычках! Метко, ядовито и бьет прямо в цель! Я думаю, ежели немецкому солдату бросить эту фразу в лицо, – ему не поздоровится!

– Итак, господа, – осветите перед лицом всего культурного мира...

– Культурного мира без кавычек!

– ...Да, без кавычек. Пусть весь культурный мир, без всяких кавычек, узнает, что делают немцы в кавычках. Пусть эти кавычки, как несмываемое позорное пятно, будут гореть в немецком сердце!..

– В сердце, в кавычках!

– Верно, браво! Пусть пятно, без кавычек, горит в сердце в кавычках!! Пусть культура в кавычках содрогнется и опустит голову перед культурой без кавычек!

– Браво. А главное, господа, протестуйте всюду и везде, в кавычках и без кавычек!

Заклеймите сердобольное в кавычках отношение немцев в кавычках к раненым без кавычек и к пленным... тоже без кавычек!..

– Зло! Метко! Ядовито! Браво. Браво, без всяких кавычек, черт возьми!..

– Ну, едем, господа!

– До свиданья без кавычек!

– Берегите себя без кавычек против немцев в кавычках!

– Носильщик! Где тут, вагон номер семь без кавычек? По-ехали.

* * *

Члены международной нейтральной комиссии протеста против германских зверств приблизились к маленькой бельгийской деревушке и, отыскав лейтенанта, командовавшего отрядом, спросили его:

– Если не ошибаемся, ваши солдаты поджигают сейчас крестьянские дома?

– Да... жаль только, что плохо горят. Отсырели, что-ли.

– Зачем-же вы это делаете? Ведь никто вам сопротивле-

ния не оказывал, припасы отдали все добровольно...

– А вы войдите в мое положение: из штаба получился приказ: навести ужас на население. Как ни вертись, – а наводить ужас надо. Вот я и тово... навожу. Эй, вахмистр! Вели облить керосином те два дома, что стоят у оврага. Да, чтобы соломы внутрь побольше насовали.

– Слушайте, – сказал председатель нейтральной комиссии. – Мы горячо протестуем против этих ни на чем не основанных зверств.

– Да, – подтвердил секретарь. – Выражаем свой протест.

– Что ж делать, господа – философски заметил лейтенант. – У каждого своя профессия. У меня – поджигать дома, у вас – выражать протест. Виноват, не потрудитесь ли вы выйти из этого дома на свежий воздух?

– А что?

– Мы его сейчас тоже жечь будем.

– Как? Вы хотите и этот дом сжечь? Так вот же вам: мы выражаем свой энергичный протест!..

– Хорошо, хорошо. На свежем воздухе выразите.

– Мы протестуем против такого способа ведения войны в кавычках!

– Швунке! Солому в рояль! Динамитный патрон туда! Господа! Посторонитесь...

Идя по деревенской улице, секретарь комиссии говорил председателю:

– А ловко я срезал этого немца: я, мол, называю ваш способ ведения войны способом в кавычках.

– Ну, это вы уж слишком. Конечно, он виду не показал, а тайне, наверное, обиделся. Нельзя же так резко... Что там такое? Что за группа у стены?!

– Глядите: связанные женщины и дети... Против них солдаты с ружьями... Прицеливаются. Надо бежать скорей туда, – пока не поздно.

Вся комиссия побежала.

– Эй, вы! Пойдите! Обождите! Что вы такое хотите делать?

– Слепли, что ли? Надо расстрелять эту рухлядь.

– Пойдите! Одну минуту... Мы...

– Ну?..

– Мы... вы...

– Ну, что такое – мы, вы? В чем дело?

– Мы вы... выражаем свой протест против такого зверского обращения с мирным населением...

– Энергичный протест! – подхватил секретарь.

– А вы не можете выразить свой протест немного левее от этого места?

– А что?

– Да, что ж вы торчите между ружейными дулами, и этими вот... Отойдите в сторонку.

– Мы, конечно, отойдем, но тут же считаем своим долгом громко и во всеуслышание заявить свой протест...

– Энергичнейший! – крикнул секретарь...

– Пли!..

* * *

Всякое самое удивительное, самое редкое явление, если оно начинает быть частым, сейчас же переходит незаметным образом в будничны́й уклад человеческой жизни, становится «бытовым явлением» (в кавычках).

И без этого бытового явления, без этого штриха, вошедшего в жизненный человеческий уклад, – становится как-то пусто... Чего-то не хватает, что-то будто не сделано.

Первые выступления нейтральной международной комиссии протеста на местах против германских зверств некоторым образом удивляли, сбивали с толку.

А потом все вошло в колею.

Запыхавшийся немецкий солдатик в сдвинутой на затылок каске прибежал в местечко, где содержались пленные и, отдышавшись, спрашивал:

– Не у вас ли, которая комиссия для протеста?

– У нас. Давеча долго протестовала, что, дескать, голодом

морим пленных...

– Так передайте им, чтобы они сейчас же шли протестовать в деревню Сан-Пьер. Мы ее подожжем с четырех концов, а жителей вырежем.

– Опоздал, братец! Их тут уже с полчаса дожидается ординарец: приглашают протестовать против добивания раненых на поле сражения. Только что сорок человек добили.

– Эх, незадача!

– Да нешто без них, без комиссии-то, – уж и деревни не подожжете?

– Поджечь-то конечно, можно, да все как-то не то. Без протеста нет того смаку. Опять же для порядка...

* * *

И работает доньне, работает усталая комиссия, не покладая рук и языка.

Дети

I

Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня.

Найти настоящий путь к детскому сердцу – очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бонн, гувернанток и нянек.

Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад...

Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благодетельных мальчиков от 8 до 11 лет.

В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем:

– Миленький! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?

Я добродушно ответил:

– Если ты опасаясь, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, – то опасения твои преувеличены более чем на поло-

вину.

– Дело не в том... А у меня есть еще одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и немку.

– Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия: как это так за ними присматривают?

– Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно... Ты такой милый!..

– Милый-то я милый... А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?

– Я скажу им... О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный.

Были призваны дети. Три благонаправных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.

– Вот, дети, – сказал отец, – с вами остается дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайте его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня – не год же, черт возьми!

Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.

II

Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая тройца опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения.

До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямо-ту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту.

– Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко, и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?

Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.

– Мы... не умеем... стоять... на головах.

– Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются об том с похвалой. Вот так, смотри-

те!

Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову. Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.

Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях.

Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.

– Дети! – сказал я внушительно. – Я вам запрещаю – слышите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки!

Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе.

Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением...

За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от че-

го другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: «Папа, мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это, да еще меньше в лежачем положении закрывать глаза составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: «7 руб. 50 коп.»

Повторяю – это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками.

Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке!

Ш

– Будем жить в свое удовольствие, – предложил я детям. – Что вы любите больше всего?

– Курить! – сказал Ваня.

– Купаться вечером в речке! – сказал Гришка.

– Стрелять из ружья! – сказал Леля.

– Почему же вы, отвратительные дьяволята, – фамильярно спросил я, – любите все это?

– Потому что нам запрещают, – ответил Ваня, вынимая из

кармана, папироску. – Хотите курить?

– Сколько тебе лет?

– Десять.

– А где ты взял папиросы?

– Утащил у папы.

– Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил – будем курить их. А выйдут – я угощу вас своими.

Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров.

Поговорили о домовых, живших на конюшне.

Потом беседа прекратилась. Молчали...

– Скажи ему! – шепнул толстый, ленивый Лелька подвижному, порывистому Гришке. – Скажи ты ему!..

– Пусть лучше Ваня скажет, – шепнул так, чтобы я не слышал, Гришка. – Ванька, скажи ему.

– Стыдно, – прошептал Ваня. Речь, очевидно, шла обо мне.

– О чем вы, детки, хотите мне сказать? – осведомился я.

– Об вашей любовнице, – хриплым от папиросы голосом

отвечал Гришка. – Об тете Лизе.

– Что вы врете, скверные мальчишки? – смутился я. – Какая она моя любовница?

– А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду.

Меня разобрал смех.

– Да как же вы это видели?

– А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая! Ведь я не с дурными намерениями!» А тетка головой крутит, говорит: «Ах, ах!..»

– Дура! – сказал, усмехаясь, маленький Лелька. Мы помолчали.

– Что же вы хотели мне сказать о ней?

– Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастливым человеком будете.

– А чем же она плохая? – спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.

– Как вам сказать... Слякоть она!

– Не женитесь! – предостерег Гришка.

– Почему же, молодые друзья?

– Она мышей боится.

– Только всего?

– А мало? – пожал плечами маленький Лелька. – Визжит, как шумашедшая. А я крысу за хвост могу держать!

– Вчера мы поймали двух крыс. Убили, – улыбнулся Гришка.

Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к глупой тетке, и ловко перевел разговор на разбойников.

О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям.

Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже большой, а еще не разбойник.

– Есть хочу, – сказал неожиданно Лелька.

– Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?

Милые дети отвечали согласным хором:

– Ухи.

– А картофель как достать: попросить на кухне или украсть на огороде?

– На огороде. Украсть.

– Почему же украсть лучше, чем попросить?

– Веселее, – сказал Гришка. – Мы и соль у кухарки украдем. И перец! И котелок!!

Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.

IV

Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал сташенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром.

Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением.

Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания взглядом глядел мне в лицо.

Неожиданно Ванька расхохотался:

– Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?

– Хи-хи! – запищал голый Гришка. – Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.

– А все Михаил Петрович, – сказал Лелька, почтительно целуя мою руку.

– Мы вас не выдадим!

– Можно называть вас Мишей? – спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой. – Ой, горячо!..

– Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?

– Превосхитительно!

Пужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.

– Давайте ночевать тут, – предложил кто-то.

– Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, – возразил я.

– Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.

– Не простудимся?

– Нет, – оживился Ванька. – Накажи меня Бог, не простудимся!!!

– Ванька! – предостерег Лелька. – Божишься? А что немка говорила?

– Божиться и клясться нехорошо, – сказал я. – В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы... Например: «Клянусь своей бородой!» «Тысяча громов»... «Проклятие неба!»

– Тысяча небов! – проревел Гришка. – Пойдем собирать сухие ветки для костра.

Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший.

Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защибетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.

V

Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подо-

бие...

Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно – с прямой целью отвертеться от утомительного снятия и надевания штанов при купании.

Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:

– Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!

К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении? Дети успокаивали меня, как могли:

– Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!

– Тысяча громов! – хвастливо кричал Ванька. – А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!

– Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошмятят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.

– Ничего, Миша! – успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу. – Зато хорошо пожил!

Вечером приехали из города родители, немка и та самая «глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.

Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.

Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал:

– Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сблизюсь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу... Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?

– Тебя! – хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.

– Пошли вы бы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?

– Пойдем, – сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.

– Было ли вам эти три дня весело?

– Ого!!

Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра.

Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:

– Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?

– Да! – сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. – Клянусь своей бородой! Пошел бы.

Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.

Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:

– Хохочет... Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили!
Дура.

Крыса на подносе

– Хотите пойти на выставку нового искусства? – сказали мне.

– Хочу, – сказал я.

Пошли.

I

– Это вот и есть выставка нового искусства? – спросил я.

– Эта самая.

– Хорошая.

Услышав это слово, два молодых человека, долговязых, с прекрасной розовой сыпью на лице и изящными деревянными ложками в петлицах, подошли ко мне и жадно спросили:

– Серьезно, вам наша выставка нравится?

– Сказать вам откровенно?

– Да!

– Я в восторге.

Тут же я испытал невыразимо приятное ощущение прикосновения двух потных рук к моей руке и глубоко волнующее чувство от созерцания небольшого куска рогожи, на котором была нарисована пятиногая голубая свинья.

– Ваша свинья? – осведомился я.

– Моего товарища. Нравится?

– Чрезвычайно. В особенности эта пятая нога. Она придает животному такой мужественный вид. А где глаз?

– Глаза нет.

– И верно. На кой черт действительно свиные глаза? Пятая нога есть – и довольно. Не правда ли?

Молодые люди, с чудесного тона розовой сыпью на лбу и щеках, недоверчиво поглядели на мое простодушное лицо, сразу же успокоились, и один из них спросил:

– Может, купите?

– Свиные? С удовольствием. Сколько стоит?

– Пятьдесят...

Было видно, что дальнейшее слово поставило левого молодого человека в затруднение, ибо он сам не знал, чего пятьдесят: рублей или копеек? Однако, заглянув еще раз в мое благожелательное лицо, улыбнулся и смело сказал:

– Пятьдесят ко... рублей. Даже, вернее, шестьдесят рублей.

– Недорого. Я думаю, если повесить в гостиной, в простенке, будет очень недурно.

– Серьезно, хотите повесить в гостиной? – удивился правый молодой человек.

– Да ведь картина же. Как же ее не повесить!

– Положим, верно. Действительно картина. А хотите видеть мою картину «Сумерки насущного»?

– Хочу.

– Пожалуйста. Она вот здесь висит. Видите ли, картина мо-

его товарища «Свинья как таковая» написана в старой манере, красками; а я, видите ли, красок не признаю; краски связывают.

– Еще как, – подхватил я. – Ничто так не связывает человека, как краски. Никакого от них толку, а связывают. Я знал одного человека, которого краски так связали, что он должен был в другой город переехать...

– То есть как?

– Да очень просто. Мильдяевым его звали. Где же ваша картина?

– А вот висит. Оригинально, не правда ли?

II

Нужно отдать справедливость юному маэстро с розовой сыпью – красок он избежал самым положительным образом: на стене висел металлический черный поднос, посредине которого была прикреплена каким-то клейким веществом небольшая дохлая крыса. По бокам ее меланхолически красовались две конфетные бумажки и четыре обгорелые спички, расположенные очень приятного вида зигзагом.

– Чудесное произведение, – похвалил я, полюбовавшись в кулак. – Сколько в этом настроения!.. «Сумерки насущного»... Да-а... Не скажи вы мне, как называется ваша картина, я бы сам догадался: э, мол, знаю! Это не что иное, как «Сумерки насущного»! Крысу сами поймали?

– Сам.

– Чудесное животное. Жаль, чтодохлое. Можно погладить?

– Пожалуйста.

Я со вздохом погладил мертвое животное и заметил:

– А как жаль, что подобное произведение непрочно... Какой-нибудь там Веласкес или Рембрандт живет сотни лет, а этот шедевр в два-три дня, гляди, и испортится.

– Да, – согласился художник, заботливо поглядывая на крысу. – Она уже, кажется, разлагается. А всего только два дня и провисела. Не купите ли?

– Да уж и не знаю, – нерешительно взглянул я на левого. – Куда бы ее повесить? В столовую, что ли?

– Вешайте в столовую, – согласился художник. – Вродеэтакого натюрморта.

– А что, если крысу освежать каждые два-три дня? Эту выбрасывать, а новую ловить и вешать на поднос?

– Не хотелось бы, – поморщился художник. – Это нарушает самоопределение артиста. Ну, да что с вами делать! Значит, покупаете?

– Куплю. Сколько хотите?

– Да что же с вас взять? Четыреста... – Он вздрогнул, опасливо поглядел на меня и со вздохом закончил: – Четыреста... копеек.

– Возьму. А теперь мне хотелось бы приобрести что-нибудь попрочнее. Что-нибудьэтакое... неорганическое.

– «Американец в Москве» – не возьмете ли? Моя работа.

Он потащил меня к какой-то доске, на которой были набиты три жестяные трубки, коробка от консервов, ножницы и осколок зеркала.

– Вот скульптурная группа: «Американец в Москве». По моему, эта вещица мне удалась.

– А еще бы! Вещь, около которой можно за-ржать от восторга. Действительно, эти приезжающие в Москву американцы, они тово... Однако вы не без темперамента... Изобразить американца вроде трех трубочек...

– Нет, трубочки – это Москва! Американца, собственно, нет; но есть, так сказать, следы его пребывания...

– Ах, вот что. Тонкая вещь. Масса воздуха. Колоритная штукенция. Почему?

– Семьсот. Это вам для кабинета подойдет.

– Семьсот... Чего?

– Ну, этих самых, не важно. Лишь бы наличными.

Ш

Я так был тронут участием и доброжелательным ко мне отношением двух экспансивных, экзальтированных молодых людей, что мне захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить их.

– Господа! Мне бы хотелось принять вас у себя и почествовать как представителей нового чудесного искусства, от-

крывающего нам, опустившимся, обрюзгшим, необозримые светлые дали, которые...

– Пойдемте, – согласились оба молодых человека с ложками в петлицах и миловидной розовой сыпью на лицах. – Мы с удовольствием. Нас уже давно не чествовали.

– Что вы говорите! Ну и народ пошел. Нет, я не такой. Я обнажаю перед вами свою бедную мыслями голову, склоняю ее перед вами и звонко, прямо, открыто говорю: «Добро пожаловать!»

– Я с вами на извозчике поеду, – попросился левый. – А то, знаете, мелких что-то нет.

– Пожалуйста! Так, с ложечкой в петлице и поедете?

– Конечно. Пусть ожиревшие филистеры и гнилые ипохондрики смеются – мы выявляем себя, как находим нужным.

– Очень просто, – согласился я. – Всякий живет как хочет. Вот и я, например. У меня вам кое-что покажется немного оригинальным, да ведь вы же не из этих самых... филистеров и буржуев!

– О, нет. Оригинальностью нас не удивишь.

– То-то и оно.

IV

Приехали ко мне. У меня уже кое-кто: человек десять – двенадцать моих друзей, приехавших познакомиться побли-

же с провозвестниками нового искусства.

– Знакомьтесь, господа. Это все народ старозаветный, закоренелый, вы с ними особенно не считайтесь, а что касается вас, молодых, гибких пионеров, то я попросил бы вас подчиниться моим домашним правилам и уставам. Раздевайтесь, пожалуйста.

– Да мы уж пальто сняли.

– Нет, чего там пальто. Вы совсем раздевайтесь.

Молодые люди робко переглянулись:

– А зачем же?

– Чествовать вас будем.

– Так можно ведь так... не раздеваясь.

– Вот оригиналы-то! Как же так, не раздеваясь, можно вымазать ваше тело малиновым вареньем?

– Почему же... вареньем? Зачем?

– Да уж так у меня полагается. У каждого, как говорится, свое. Вы бросите на поднос дохлую крысу, пару карамельных бумажек и говорите: это картина. Хорошо! Я согласен! Это картина. Я у вас даже купил ее. «Американца в Москве» тоже купил. Это ваш способ. А у меня свой способ чествовать молодые, многообещающие таланты: я обмазываю их малиновым вареньем, посыпаю конфетти и, наклеив на щеки два куска бумаги от мух, усаживаю чествуемых на почетное место. Есть вы будете особый салат, приготовленный из кусочков обоев, изрубленных зубных щеток и теплого вазелина. Не правда ли, оригинально? Запивать будете свинцовой при-

мочкой. Итак, будьте добры, разденьтесь. Эй, люди! Приготовлено ли варенье и конфетти?

– Да нет! Мы не хотим... Вы не имеете права...

– Почему?!

– Да что же это за бессмыслица такая: взять живого человека, обмазать малиновым вареньем, обсыпать конфетти! Да еще накормить обоями с вазелином... Разве можно так? Мы не хотим. Мы думали, что вы нас просто кормить будете, а вы... мажете. Зубные щетки рубленые даете... Это даже похоже на издевательство!.. Так нельзя. Мы жаловаться будем.

– Как жаловаться? – яростно заревел я. – Как жаловаться? А я жаловался кому-нибудь, когда вы мне продавали пятиногих синих свиней и кусочки жести на деревянной доске? Я отказывался?! Вы говорили: мы самоопределяемся. Хорошо! Самоопределяйтесь. Вы мне говорили – я вас слушал. Теперь моя очередь... Что?! Нет уж, знаете... Я поступал по-вашему, я хотел понять вас – теперь понимайте и вы меня. Эй, люди! Разденьте их! Мажь их, у кого там варенье. Держите голову им, а я буду накладывать в рот салат... Стой, брат, не вырвешься. Я тебе покажу сумерки насущного! Вы самоопределяетесь – я тоже хочу самоопределиться...

V

Молодые люди стояли рядышком передо мной на коленях, усердно кланялись мне в ноги и, плача, говорили:

- Дяденька, простите нас. Ей-богу, мы больше никогда не будем.
- Чего не будете?
- Этого... делать... Таких картин делать...
- А зачем делали?
- Да мы, дяденька, просто думали: публика глупая, хотели шум сделать, разговоры вызвать.
- А зачем ты вот, тот, левый, зачем крысу на поднос повесил?
- Хотел как чуднее сделать.
- Ты так глуп, что у тебя на что-нибудь особенное, интересное даже фантазии не хватило. Ведь ты глуп, братец?
- Глуп, дяденька. Известно, откуда у нас ум?!
- Отпустите нас, дяденька. Мы к маме пойдем.
- Ну ладно. Целуйте мне руку и извиняйтесь.
- Зачем же руку целовать?
- Раздену и вареньем вымажу! Ну?!
- Вася, целуй ты первый... А потом я.
- Ну, Бог с вами... Ступайте.

VI

Провозвестники будущего искусства встали с колен, отряхнули брюки, вынули из петлиц ложки и, сунув их в карман, робко, гуськом вышли в переднюю.

В передней, натягивая пальто, испуганно шептались:

– Влетели в историю! А я сначала думал, что он такой же дурак, как и другие.

– Нет, с мозгами парень. Я было испугался, когда он на меня надвигаться стал. Вдруг, думаю, подносом по голове хватит!

– Слава Богу, дешево отделались.

– Это его твоя крыса разозлила. Придумал ты действительно:дохлую крысу на поднос повесил!

– Ну, ничего. Уж хоть ты на меня не кричи. Я крысу выброшу, а на пустое место стеариновый огарок на носке башмака приклею. Оно и прочнее. Пойдем, Вася, пойдем, пока не догнали.

Ушли, объятые страхом...

Кто ее продал...

I

Не так давно «Русское Знамя» разоблачило кадетскую газету «Речь»... «Русское Знамя» доказало, что вышеозначенная беспринципная газета открыто и нагло продает Россию Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги.

Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор «Русского Знамени» перешел с газет на частных лиц, попал на меня, осветил все мои дела и поступки, обнаружив, что я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен и – продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел увернуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать как-нибудь те факты, которые вопиюще громко кричат против меня, но – ведь все равно: рано или поздно все всплывет наружу, и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее...

Лучше же я расскажу все сам.

Добровольное признание – это все, что может – если не спасти меня, то, хотя частью, облегчить мою вину...

Дело было так:

II

Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть два господина по очень важному делу.

– Кто же они такие? – любопытствовал я.

– Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой белясый, а другой маленький, косо́й, черны́й. Не иначе – японец.

Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату, поздоровались со мной.

– Чем могу служить?

– Я – прикомандированный к японскому посольству маркиз Оцу́па.

– А я, – сказал блондин, небрежно играя финским ножом, – уполномоченный от финляндской революционной партии «Войма». Моя фамилия Муляйнен.

– Я вас слушаю, – кивнул я головой.

Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и, пронзительно глядя в глаза, прошептал:

– Скажите... Вы не согласились бы продать нам Россию?

Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталась от него наследственная коммерческая жилка.

– Это смотря как... – прищурился я. – Продать можно. Отчего не продать?.. Только какая ваша цена будет?

– Цену мы дадим вам хорошую, – отвечал маркиз Оцуна. –

Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте.

– Запрашивать я не буду, – хладнокровно пожал я плечами. – Но ведь нужно же понимать и то, что я вам продаю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая громадная страна. И, притом, – нужно добавить, горячо мною любимая.

– Ну, уж и страна!.. – иронически усмехнулся Муляйнен.

– Да-с! Страна! – горячо вскричал я. – Побольше вашей, во всяком случае... Свыше пятидесяти губерний, две столицы, реки какие! Железные дороги! Громадное народонаселение, занимающееся хлебопашеством! Пойдите-ка, поищите в другом месте.

– Так-то так, – обменявшись взглядом с Муляйненом, возразил японец, – да ведь страна-то раззорена... сплошное нищенство...

– Как хотите, – холодно проворчал я. – Не нравится – не берите.

– Нет, мы бы взяли, все-таки... Нам она нужна. Вы назовите вашу цену.

Я взял карандаш, придвинул бумагу и стал долго и тщательно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и решительно сказал:

– Десять миллионов.

Оба вскочили и в один голос воскликнули:

– Десять миллионов?!

– Да. Именно, рублей. Ни пфеннигов, ни франков, а руб-

лей.

– Это сумасшедшая цена.

– Сами вы сумасшедшие! – сердито закричал я. – Этакая страна за десяток миллионов – это почти даром. За эти деньги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообщения... Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Сибирь – эту громадную богатейшую страну!

Маркиз Оцупа слушал меня, призадумавшись.

– Хотите пять миллионов?

– Пять миллионов? – рассмеялся я. – Вы бы еще пять рублей предложили! Впрочем, если хотите, я вам за пять рублей отдам другую Россию, только поплоче. В кавычках.

– Нет, – покачал головой Муляйнен. – Эту и за пять копеек не надо. Вот что... хотите семь миллионов – ни копейки больше.

– Очень даже странно, что вы торгуетесь, – обидчиво пожегил я. – Покупают то, что самое дорогое для истинного патриота, да еще торгуются!

– Как угодно, – сказал Муляйнен, вставая. – Пойдем, Оцупа.

– Куда же вы? – закричал я. – Постойте. Я вам, так и быть, миллион сброшу. Да и то не следовало бы – уж очень страна-то хорошая. Я бы всегда на эту цену покупателя нашел... Но для первого знакомства – извольте – миллион сброшу.

– Три сбросьте!

– Держите руку, – сказал я, хлопая по протянутой руке. –

Последнее слово, два сбрасываю! За восемь. Идет?

Японец придержал мою руку и сосредоточенно спросил:

– С Польшей и Кавказом?

– С Польшей и Кавказом!

– Покупаем.

Сердце мое отчего-то пребольно сжалось.

– Продано! – вскричал я, искусственным оживлением стараясь замаскировать тяжелое чувство. – Забирайте.

– Как... забирайте? – недоумевающе покосился на меня Оцупа. – Что значит забирайте? Мы платим вам деньги, главным образом, за то, чтобы вы своими фельетонами погубили Россию...

– Да для чего вам это нужно? – удивился я.

– Это уж не ваше дело. Нужно – и нужно. Так – погубите?

– Хорошо, погублю.

III

На другой день поздно вечером к моему дому подъехало несколько подвод, и ломовики – кряхтя, стали таскать в квартиру тяжелые, битком набитые мешки.

Служанка моя присматривала за ними, записывая количество привезенных мешков с золотом и изредка уличая ломовика в том, что он потихоньку пытался засунуть в карман сто или двести тысяч; а я сидел за письменным столом и, быстро строча фельетон, добросовестно губил проданную мною

родину...

Теперь – когда я окончил свою искреннюю тяжелую исповедь – у меня легче на сердце. Пусть я бессердечный торгаш, пусть я Иуда-предатель, продавший свою родину... Но ведь – ха-ха! – восемь-то миллиончиков – ха-ха – которые у меня в кармане – не шутка.

И теперь, в ночной тиши, когда я просыпаюсь, терзаемый странными видениями, – передо мной встает и меня пугает только один страшный, кошмарный вопрос:

– Не продешевил ли я?!

Три желудя

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке – и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы – Мотька, Шаша и я – послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге, – «знакомы домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуды на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта: они не придают значения никаким различиям между людьми – ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Мотькина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (ран-

тье, буржуазия). Умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас – веснушчатых и худосочных – красавцем. Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли.

Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех – единосушно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги – ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью, с опасностью для собственного фасада и тыла, воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашина отца – рыжебородого пьяницы – была прекверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни достигал; так как около него всегда маячили и мы, то этот прямолинейный демократ бил и нас на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий-красный —
Человек опасный...
Я на солнышке лежал...
Кверху бороду держал...

– Сволочи! – грозил снизу кулаком Шашин отец.

– А ну иди сюда, иди, – грозно говорил Мотька. – Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону – и наоборот. Что там говорить – дело было беспроегрешное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет, дружно взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, опасливо заглянули туда, как щепки попали в водоворот, и водоворот закрыл нас.

Шаша поступил наборщиком в типографию «Электрическое усердие», Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия», – что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказывалось вакансии в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотька и что с ним – об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он «удачно определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подсту-

пись.

Мотыка постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотыки.

И вдруг получилось сведение, что Мотыка должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотыкина мать, и в этом сохранении видела бедная женщина самый пышный лавр в победном венке завоевателя мира Мотыки.

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотыку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

– Такой, говорят, франт, – горделиво закончил Шаша, – такой франт, что пусти-вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку – и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первым долгом потребовали Мотю... Ответ был самый аристократический:

– Мотя не принимает.

– Как не принимает? – удивились мы. – Чего не принимает?

– Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сооб-

щит вам, когда сможет принять.

Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

– Может быть, он нездоров?.. – попытался смягчить удар деликатный Шаша.

– Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы... Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге.

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге, впредь до выяснения, не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, такими униженно-жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» – совсем как в романах.

– Ты куда? – спросил Шаша.

– В лавку. Скоро запирать надо. (Боже, какая проза!)

– А ты?

– А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и заваюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

На другое утро – было солнечное воскресенье – Мотькина

мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей – и побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первые. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был, действительно, великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, бряцающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов – он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравновешивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом...

Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только

без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки к сиятельному другу:

– Мотька! Вот, брат, здорово!..

– Здравствуйте, здравствуйте, господа, – солидно кивнул головой Мотька и, пожав наши руки, опустился на скамейку...

Мы оба стояли.

– Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.

– Послушай, Мотька... – начал я с робким восторгом в глазах.

– Прежде всего, дорогие друзья, – внушительно и веско сказал Мотька, – мы уже взрослые, и поэтому «Мотьку» я считаю определенным «кель выражансом»... Хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч – так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здоровкается. Жизнь солидная, оборот предприятия два миллиона. Отделение есть даже в Коканде... Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

– Пожалуйста, пожалуйста, – пробормотал Шаша. Стоял он, согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину...

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

– Теперь опять стали носить цилиндры? – спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

– Да, носят, – снисходительно ответил Матвей Семеныч. – Двенадцать рублей.

– Славные брелочки. Подарки?

– Это еще не все. Часть дома. Все на кольце не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь – хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватает, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвею Семенычу тоже не по себе...

Но наконец он решился. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку, и начал:

– Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие, и вообще, детство – это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, до какого-нибудь там высшего общества, до интеллигенции дошел, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубея рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего – один достиг, другой не достиг... Гм!.. Но, впрочем, если хотите, мы будем

изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я буду делать прогулку, – все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особенной фамиллярности – я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение – вы меня любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... Я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен... Гм! Душевно рад.

В этом месте Матвей Семеныч взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

– О-ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.

В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем. Это были последние слезы детства. Теперь – засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотыка был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками, – он теперь кажется мне смехотворным и

ничтожным, как червяк без сердца и мозга, – почему же мы тогда так убивались, потеряв Мотьку?

А ведь – вспомнишь – как мы были одинаковы, – как три желудя на дубовой ветке, – когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны...

Увы! Желуди-то одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки – из одного дубка делают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого...

Участок

*Того согрей,
Тем свету дай
И всех притом
Благословляй.*

Имеете вы, хоть слабое, представление о функциях расторопной русской полиции?

Попробуйте хоть полчаса посидеть в душной, пропитанной промозглым запахом канцелярии участка. Это так интересно...

...Околоточный надзиратель отрывается от полуисписанной им бумажки, поднимает голову и методически спрашивает:

- Тебе чего?
- Самовар украли, батюшка.
- И твои глаза где же были?

Околоточный прекрасно сознает, что этот вопрос – ни более, ни менее как бесплодная, ненужная попытка хоть на минуту оттянуть исполнение лежащих на нем обязанностей – опрос потерпевшей, составление протокола и розыски похитителя.

– Ты чего ж смотрела?

– То-то, что не смотрела. У лавочку побежала, а он, пес, значит, – шась! Кипяток вылил, угли вытряс – только его

и видели.

– «Он», «его»... Почему ты знаешь, что «он»? Может, и «она»!

Кухарка запахивается в платок, утирает указательным пальцем нос и, подумав, соглашается:

– А, может, и она. Аны рази разбирают.

– Подозрение на кого-нибудь имеешь?

– Имею.

– Ну?

– Не иначе, жулик какой-нибудь украл.

– Ты скажешь тоже... Посиди тут, я сейчас все устрою.

Вам чего, господин?

– Сырость у меня.

– Где сырость?

– В квартире.

– Ну так что ж?

– Не могу же я, согласитесь сами, в сырой квартире жить?!

Околоточному даже не приходит в голову заявить, что это его не касается, или, в крайнем случае, удивиться, что к нему обращаются с такими пустяками.

Единственная роскошь, которую он себе позволяет, это – хоть на минутку оттянуть исполнение своих обязанностей.

– А вы зачем же сырую квартиру снимали?

– Я снимал не сырую. Я снимал сухую.

– Сухая, а сами говорите – сырая.

– Она потом оказалась сырой, когда уже переехали. Такие

пятна по обоям пошли, что хуже географической карты.

Рассматривая недописанную бумажку, околоточный что-то мычит и машинально спрашивает:

– Подозрение на кого-нибудь имеете?

– То есть как это? Я вас не понимаю.

– Гм!.. Я хочу сказать, убытки заявляете?

– Да как же их заявить – если от сырости ревматизм бывает. Иной ревматизм пустяковый, может быть, десять целковых стоит, а иной, как защемит – его и в тысячу рублей не уберешь.

Тоскливое молчание.

– А вы чего ж смотрели, когда нанимали?

– Говорю ж вам – тогда сырости не было.

– Хорошо... Адрес? Зайду. Наведу справки и... Вам чего?..

– Господин околоточный! Вы не можете себе представить – я за последнее время все нервы себе истрепала. Буквально все нервы.

Вероятно, эта выше средних лет дама истрепала нервы не более, чем околоточный, потому что он хватается за недописанную бумажку, потом за голову и осведомляется:

– Подозрение на кого-нибудь имеете?

– Буквально все нервы. Как только наступает ночь – прямо хоть беги из квартиры.

– А что такое?

– Привидения. Все в один голос так говорят, что приви-

дения. Кто-то стучит, ходит, роняет вещи, разговаривает, а ровно в полночь раздаётся вдруг в стене такой вой и плач, что мы все с ума сходим.

– Как же вы так допустили до этого?

– Да мы-то что же... Мы тут ни при чем.

– Подозрение на кого-нибудь имеете?

– Никакого подозрения. Я убеждена, что это что-нибудь загадочное. Ходит, роняет вещи и разговаривает.

– Сколько же их душ?

– Кого?

– Вот этих... призраков?! Приведений?

– А почему я знаю. Вероятно, одно.

– Но вы говорите – он разговаривает. Не может же он сам с собой разговаривать?

– А я не знаю. Вам лучше знать – может он или не может.

Околоточный обладает чрезвычайно скудным запасом сведений из жизни обитателей потустороннего мира; но, как представитель власти, не хочет ударить лицом в грязь и поэтому говорит чрезвычайно уверенно:

– Не может. Не иначе, как с соучастником. Ну, хорошо. Успокойтесь, сударыня. Мы разберем это дело, и виновные понесут заслуженное наказание. Ваш адрес? Имею честь кла... Ты чего тут топчешься?

– Мать старуха померла.

– Подозрение на ко... Гм! Ну, и царство ей небесное. От чего померла?

– Бог-ё знает. Ей уж годов сто будет. Три года как не ставала. Теперь померла.

– А ты чего же смотрел? – тоскливо в сотый раз мямлит околоточный. – Ну, ладно. Подожди, сейчас. Вам что угодно? Потрудитесь снять котелок. Осторожнее, вы рукой в чернильницу попали. Что вам угодно?

– Скучно мне, господин околоточный.

– А вы бы меньше пили, так и не было бы скучно.

– Чудак человек, а отчего же я пью? От скуки ж!

– Вы что ж... заявление какое пришли сделать? Прошу на меня не дышать!

– Пришел. Заявление. Заявлю вам, как представителю власти, что мне скучно! Почему нет никаких увеселений?

– Идите домой спать. Вот вам и увеселение.

– Вы думаете? Не желаю. Я хочу жить полной жизнью. Конечно, вы можете меня прогнать, но – куда же мне пойти? Если я пришел сюда, значит, больше некуда. Ах, г. околоточный! Русский человек носит в себе особую тоску.

– Будьте добры не мешать мне.

– Куда же я пойду? Чрезвычайно хочется каких-нибудь увеселений.

– Ну... пойдите в кинематограф. Часа через два откроется.

– Мерси! Вот видите – дельный совет. Я знал, куда иду! Начальство – оно распорядится! Разрешите посидеть тут на диванчике, подождать открытия.

– Сидите. Только не шумите. Вам что, господин?

– Жена от меня ушла. Нельзя ли...

– А вы чего же смотрели?

– Ах, да разве за ними усмотришь? Спрашивается, чего ей не доставало?

– Да... Женщины народ загадочный. Все ищут такого, чего и на свете нет. Престранная публика. Подозрение на кого-нибудь имеете?

– Тут даже и подозрения никакого нет; сбежала со штабс-капитаном Перцовым.

– А вы чего же смотрели?

– А вот вы спросите. Приятелем моим считался, на миллиарде вместе играли и – на тебе!.. Подсидел.

– Да-а... В семейной жизни всегда нужно быть начеку, – говорит устало околоточный, закуривая папиросу. – Можно вам предложить? Семейная жизнь – это, как говорится, осажденная крепость. Женщины любят все романтическое, а мужья ходят по утрам простоволосые, в расхристанной рубашке и туфлях на босу ногу. А женщина лакированный ботфорт любит. Нравственная глубина не так ее интересует, как приятный блеск внеш... Тебе чего?

– Ну, вы еще заняты, так я себе немножечко, ваше благородие, подожду. Таки каждый человек должен ожидать, когда их высокоблагородие заняты. Вы уж, пожалуйста, не кричите...

– Да ты по какому делу?

– Маленькое себе дело. К моей жене заехала из Варшавы на минуточку свояченица, ну, так она имеет варшавское правожительство. Я говорю господину паспортисту...

– Хорошо. Зайдешь к трем часам, когда посвободнее будет. Вам чего, барышня? Не плачьте.

– Можно так делать? Говорил: «Люблю, люблю», а теперь вытянул все, обобрал и ушел... Оставил в чем мать родила.

– Кто такой?

– Приказчик от «Обонгу». Прямо-таки оставил в чем мать родила.

– А вы чего же смотрели?

– Так если он говорил, что любит. Божился, крестился, землю ел. А теперь что я?.. В чем мать родила!

Это не более как поэтическая метафора, потому что огромная шляпа на голове девицы никогда не позволила бы ей появиться в таком виде на этот горестный свет.

– Хорошо, – говорит околоточный. – Вы где в него влюбились? В нашем участке? Будьте покойны, – мы примем меры!

Пишущий эти строки долго сидит на потертом деревянном диванчике и любуется этим калейдоскопом кухарок, квартирантов, привидений, пьяных и обманутых мужей.

И вот, выждав свободную минуту, я встаю с диванчика и подхожу к обессиленному, оступевшему околоточному.

– Вам что угодно?

– Темы нет, г. околоточный.

– Какой темы?

– Для рассказа.

– А вы чего же смотр... Да я-то тут при чем, скажите пожалуйста?!

– Как при чем? Вы – полиция. Если привидения, пьяные и обманутые мужья вам «при чем», то и тема вам «при чем».

Околоточный трет голову.

– Вам тему?

– Тему.

– Для рассказа?

– Для рассказа.

– Гм... Подозрения ни на к... Ах ты, Господи! Ну, мало ли тем... Ну, опишите, например, участок, посетителей. Вот вам и тема.

– Ну, вот и спасибо. Опишу. Я ведь знал, что если вы обязаны смотреть за всем, то обязаны смотреть и за темами. Прощайте!

Вот – написал.

Юмор для дураков

Это был солидный господин с легкой наклонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.

– Вот вы писатель, – сказал он мне, познакомившись. – Писатель-юморист... Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..

– О, помилуйте... – скромно возразил я.

– Нечего там скромничать. Расскажите мне какую-нибудь смешную штуку... Я это ужасно люблю.

– Позвольте... Что вы называете «смешной штукой»?

– Ну, что-нибудь такое... юмористическое, Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава Богу – специалист, кажется! Ну, ну... не скромничайте!

– Видите ли... Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

– Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете... Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:

– Ну, слушайте... Мать послала маленького сына за гуля-

кой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца – и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» – ответил: «Я его видел в трактире... Он сидит там с пеной у рта». – «Сердится, что ли?» – «Нет, ему подали новую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штучка» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:

– Ну?

– Что «ну»?

– Что же дальше?

– Да это все.

– Что же отец... вернулся домой?

– Да это не важно. Вернулся – не вернулся... Все дело в ответе мальчика.

– А что, вы говорите, он ответил?

– Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.

– Ну?

– Видите ли... Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил то, что называется, – буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной:

«Отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это – фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.

– Фигуральное?

– Да.

– Взбесило?

– Да!

– Ну?

– Что еще такое – «ну»?

– Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.

– Ну да.

– Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится... Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры.

– Что-о?..

– Я говорю – трактиры. Еще если холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств, – так трудновато... Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жиру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.

Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное – автор имеет право на некоторое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:

– Ха-ха-ха! Уморил! Ей-Богу, уморил. Папа, говорит, в

трактире пену пьет, сердится... А мать-то, мать-то! В каких дурах... О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый, – подумал я. – Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

– Ну, я вас прошу, расскажите еще что-нибудь...

– Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов... Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю и – что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколотая записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст – попробуйте-ка догнать!»

Любитель «смешных штук» поощрительно взглянул на меня и сказал:

– Ну и что же? Догнал он похитителя или нет?

Я вздохнул и начал терпеливо:

– Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьёзном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.